

ляются как места «изобилия *ходжа*» — *ходжа кони* — *коли*. Более того, в Ташкентском оазисе специально приглашали *ходжа* на постоянное жительство при отсутствии их в селениях. Беспорядки (разваливавшиеся дома и дувалы (ограды), неухоженные улицы, частые раздоры между людьми) в среде таджиков южной окраины Ферганской долины нередко объясняли отсутствием в них *ходжа*.

Слово *кол*, *кал* переводилось и как «богатство, товар, имение», а также как «недвижимость» (тогда как *мол*, *мал* — движимость) (земельные документы XIII–XVIII веков, перевод и комментарии О.Д. Чехович). Сочетание слов *молу* — *кол* в быту означало скот — земля. По устному сообщению этнографа Е.М. Пещеревой, в XX в. распространенное выражение *молу* — *кол* понималось как «всякое имущество», движимое и недвижимое, но чаще конкретно и именно так: скот и земля. Более официальными терминами выступали *моли манкул* — *моли гайриманкул*.

Заметим, что даже в русском языке слово *кол* общеизвестно как палка, вбитая в землю двора для привязи коней. Но в пословице о бедняке, не имевшем «ни кола, ни двора», оно толкуется как земля — старое крестьянское название участка пахотной земли в ширину двухсаженного деревянного кола.

История терминов *сак* и *кол*, несмотря на различные временные и территориальные изменения, показывает постоянство некоторых древних традиций. В этой истории отражается сохранение частью современного населения этнических связей с саками. Возможно, не случайно широкое и постоянное употребление термина *ходжа* в значении этнонима именно в *кат Саккол*, т.е. в более старых, *верхних*, кварталах (при утрате адекватного по смыслу названия *сак*), в верховьях водных истоков, а также на землях, обозначавшихся древним термином *кол*.

Следует подчеркнуть, что становившиеся оседлыми *саки* первыми занимали, как правило, лучшие позиции (*верхние*, более обеспеченные водой) и земли (удобные, качественные). Здесь они обретали и новые знания, и достойное социальное положение. В дальнейшем именно *саки* выступали уже под иными названиями, отражавшими в новых условиях и новые знания, и более высокий социальный статус: *аулиё*, *ходжа*, *худо* — «святой, хозяин, бог».

М.А. Родионов

АРАБСКОЕ ВРЕМЯ, ИЛИ ЧЕЛОВЕК НА ОСТРОВЕ

Ближневосточная традиция различает два тока времени: круговое и прямолинейное. Одно начинается с акта творения и возвращается на круги своя неотвратно и предначертано. Другое движется по прямой из бесконечного прошлого в бесконечное будущее, скрепляя их причинно-следственной связью через настоящее. В первом случае главный движитель — Судьба и высший Промысел; во втором — человеческий разум, позволяющий понять замысел Творца.

До Ислама аравитяне мало задумывались о том, куда уходит душа после кончины тела и что ее ждет. Существовало представление о неодолимой судьбе, которая лягает насмерть, как слепая верблюдица, не разбирая правых и виноватых [Аравийская старина 1983: 39]. Пророк Мухаммад связал племенные родословия с первочеловеком Адамом, разрозненные аравийские сказания — с Заветами Авраама и Иисуса. Историческое время приобрело черты сакрального, получив истоком сотворение мира и человека, а исходом — День Расчета, или Страшный суд. Для библейско-коранической традиции нормативно будущее, ибо Царство Божие в любой миг может стать настоящим.

Средневековые представления образованных мусульман о месте человека во времени и мире отразились в «Повести о Хаййе ибн Якзане», или о Живом, сыне Бодрствующего, написанной в XII в. андалузским мыслителем и врачом Ибн Туфейлем. В ней рассказывается о том, как человек, заброшенный в младенчестве на необитаемый остров в Индийском океане и выросший там среди зверей и растений, познает мир. То ли мать отправила своего тайно рожденного сына по лону вод, то ли Хайй самозародился из пузырьков бродящей глины и Бог вдохнул в него душу. Мальчика вскормила газель, а когда она умерла, он вскрыл ее тело, чтобы понять, что такое смерть.

Пытливость и отвага двигали его поступками. Он узнал огонь, изготовил орудия, сшил одежду из шкур, одомашнил животных. К третьей седьмине своей жизни Хайй изучил свойства всех тел этого мира: зверей, растений, камней, земли, воды, пара, льда, снега, града, дыма, пламени и угля — и постиг их природу и строение. Разделив тела на одушевленные и неодушевленные, он догадался, что в мире есть нематериальный Создатель, дающий всему телесному обличие и душу. Задумавшись о бесконечном движении небесных сфер, Хайй понял, что «они Его следствия, безразлично, возникли ли они после предшествовавшего им небытия или были безначальными во времени <...>, в обоих положениях они — следствия, нуждаются в Творце и связаны с Ним в своем существовании. Если бы Он не был вечен, не были бы вечны и они, и если бы Его не было, не было бы и их» [Ибн Туфейль 1978: 86].

Удалившись в пещеру, Хайй обратился от чувственного к божественному. На этом пути он делал привалы на таких духовных стоянках, для пребывания на которых требовалась вся его отвага: «Он видел много существей нематериальных, похожих на зеркала заржавленные, покрытые грязью и повернутые сверх того спиной к зеркалам полированным, отражающим образ солнца <...> Он увидел в этих существях такую мерзость и недостатки, о которых никогда и не помышлял. Он нашел их в бесконечных страданиях и в непрекращающейся скорби <...>. Помимо этих мучимых существей, он видел существей, то появлявшиеся, то исчезающие, то сгущавшиеся, то рассыпавшиеся». Но стоило ему вернуться в настоящее, как видения исчезали. «Ибо мир здешний и мир будущий — как бы две жены: если ты удовлетворишь одну, то разгневал другую» [Там же: 118]. Всего этого он достиг до перехода за седьмую седьмину жизни.

Самое интересное ждет читателя, когда на остров прибывает мусульманский отшельник Асаль. Выясняется очевидное: Хайй не знает человеческого языка! Всю титаническую работу по изучению мироздания он проделал без помощи слов. Асаль учит Хаййя арабскому и признает бесспорное превосход-

ство своего ученика в вере и знании. Создается впечатление, что Хайй наперед знал о Коране и пророческой миссии Мухаммада. Единственное, что его удивляло, почему, раскрывая людям божественную истину, Пророк прибегал к притчам и иносказанием. Разгадка пришла, когда Хайй совершил путешествие к обычным людям и убедился, что те живут настоящим и не в силах понять глубинных тайн. Тогда, обратившись к лучшим из них, «он заповедал им следовать тем постановлениям закона и тому внешнему образу действий, которым они следовали, поменьше погружаться в то, что их не касается, твердо верить даже и в смутные заветы, отвращаться от ересей и предметов, возбуждающих страсть, подражать благим предкам и бежать новшеств» [Там же: 133]. Затем Хайй с Асалем вернулись на свой остров и до самой смерти поклонялись Господу. Живой (Хайй) дух человека предался вечно Бодрствующему (Якзан) Отцу.

Хайй размышлял о вечности и Боге. А Бог и есть время, как сказал Ибн ал-Араби, младший современник Ибн Туфейля, считающийся у мистиков Ислама самым великим Учителем. Учитель возносил хвалу «Тому, Кто положил начало бытию, произведя на свет Величайшее Перо и Хранимую Скрижаль, явивших мир записи и начертания» [Ибн ал-Араби 1995: 88], т.е. область, где записана всякая будущая вещь или событие. Причем предметы и дела не равны сами себе, ибо Господь волен изменять их как хочет, и лишь по несказанной милости Своей сохраняет Он для нас законы природы и причинно-следственные связи, чтоб мы не потерялись в этом мире и не сошли с ума.

Итак, будущее предначертано, но жестко не предопределено; хотя Ислам и обвиняют в фатализме. Все знают, что ждет нас в конце, но человек сам выбирает свои поступки из набора, предложенного Аллахом, и сам отвечает за ход своей жизни и судьбы. Для благочестивого взгляда прошлое — это вереница Заветов и пророчеств — от Адама до Мухаммада, печати пророков, а до Ислама жители Аравии жили в эпоху неведения, которую лучше забыть и тем самым освободить будущее от языческого прошлого.

В XVII в. притчу Ибн Туфейля перевели на латынь и издали в Оксфорде. Затем последовали переводы на живые европейские языки. Ею интересовался Лейбниц. К тому же «Повесть о Хаййе» прямо или косвенно породила таких несхожих литературных героев, как Робинзон, Гулливер, Маугли. Первым из них был Андриено из романа «Критикон», созданного в XVII в. испанским иезуитом Бальтасаром Грасианом. Роман повествует о том, как некий зрелый муж, потерпев кораблекрушение, оказался на острове Святой Елены в Атлантическом океане, где встретил юношу, не знавшего одежды и человеческой речи. Обучая его испанскому языку, он нарек юношу Андриено, что значит Человек, и поведал ему собственное имя — Критилло, или Рассудительный.

Андриено был вскормлен в пещере самкой дикого зверя, которую считал своей матерью. Когда потемки его духа начали рассеиваться благодаря врожденной любознательности, он страстно захотел выбраться из своей темной норы. Это удалось после землетрясения, разрушившего каменные преграды. Выйдя на волю, юноша впервые узрел великолепный театр мироздания, небо, землю и море, солнце и ночные светила, восхитился их красотой и восхвалял Творца. Всеми пятью чувствами Андриено постигал в одиночестве

форму, краски, вкус, качества и движения живых существ и неодоушевленных тел в их поразительном разнообразии. Но особенно изумляло его, что Бог, «столь очевидно являющийся нам в Своих творениях, скрыт в Себе» [Грасиан 1981: 86].

Явное сходство с книгой Ибн Туфейля давно замечено литературоведами, установившими, впрочем, что Грасиан не читал латинского перевода «Повести о Хаййе», хотя бы потому что умер за тринадцать лет до его публикации. Арабским же наш автор, по всей вероятности, не владел. Тем не менее он вполне мог знать схожие устные легенды, сохранившиеся у обращенных в христианство мусульман или иудеев, из чьей среды, возможно, вышли его предки [Там же: 549, 508]. Кроме сюжетной завязки, испанской почвы и веры в то, что естественный человек, свободный от груза прошлого, способен познать мир и его Творца, в обоих произведениях не слишком много общего.

Изложенная строгим и ясным языком «Повесть о Хаййе ибн Якзане» — это действительно *повесть* о Хаййе, где отшельник Асаль всего лишь второстепенная фигура, призванная оттенить изначальную мудрость героя, не нуждающегося в человеческом обществе и опыте. Критилло, аналог Асаля, напротив, не менее важен для «Критикона», чем простодушный дикарь Андриено. Вместе они составляют неразрывную пару — «рассуждающая культура» и «воспринимающая натура» — и странствуют в пестром мире людей.

Настоящее в «Критиконе» описывается витиеватым и прихотливым языком барокко, гротескные образы подтверждают диагноз: жизнь больна. Прошлое примитивно, а будущее лишено определенности, ибо «правда должна родить, и неведомо, каково будет чадо — чудище или чудо» [Там же: 368]. Четыре времени человеческой жизни начинаются вешним ручьем детства, растекаются летней стремниной юности, а затем — осенней рекой зрелости, что впадает в холодное море старости; за ним нас ждет Остров Бессмертия, который надо заслужить. Грасиан поучает, обличает, выдумывает, острит, намекает, смеется.

Совсем другое дело — «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо. Тон спокойный, серьезный, чуждый вывертов и броских аллегорий. Впечатление, что перед нами не литература, а дневник, написанный самим героем без участия автора. Автор Робинзона, однако, знал труды нашего испанца и мог читать английский перевод повести Ибн Туфейля, опубликованный в Лондоне в 1708 г., за одиннадцать лет до его романа. Книгой Дефо зачитывались философы и просвещенная европейская публика, но популярность опасна для литературного произведения. Так «Робинзон» понемногу стал руководством по выживанию для бойскаутов, где объясняется, как разбить палатку, испечь хлеб, сплести корзину, обжечь горшок, выдолбить лодку, приручить козу.

Однако в контексте арабо-мусульманского и испано-католического вариантов робинзонады роман Дефо — это притча о блудном сыне, пережившем испытания библейского Иова. Или, точнее, вырастающее в притчу документальное повествование об англичанине из Йорка. Несмотря на увещания отца, предупреждавшего, что сыну не будет благословения Божьего, Робинзон отправился в море, где первое же волнение показалось ему страшной бурей. Пережив затем настоящий шквал, он поплыл в Африку и оказался в плену у мавров. Бегство из мусульманской неволи привело его в Бразилию, откуда он пус-

тился в Гвинею за черными рабами для своей плантации. В кораблекрушении близ Тринидада его выбрасывает на остров, где ему предстояло провести двадцать восемь лет, два месяца и двенадцать дней — четыре седмины, как сказал бы Ибн Туфейль.

Но Робинзон не бессловесный юноша, вскормленный газелью и свободный от всякого прошлого. Вооруженный навыками своей культуры и вещами с разбитого корабля, он мужественно борется за материальное существование, в котором ему нужно не только необходимое (пища, кров, безопасность), но и кое-что сверх того. Потратив множество усилий, он делает себе складной зонтик, со второго погибшего корабля забирает «лопаточку для угля и каминные щипцы, в которых очень нуждался» [Дефо 1974: 158]. Он отмечает дни зарубками на столбе, определяет сухие и дождливые периоды, ведет подневные записи, пока не кончились чернила, но помимо прагматического линейного времени мало-помалу постигает «странное совпадение чисел и дней», в которые с ним происходили главные события жизни [Там же: 118]. Совпадают черные даты ухода из родительского дома и захвата марокканскими пиратами, светлые даты первого спасения на море, бегства от мавров и конца островного отшельничества; второе рождение из пучины пришлось на день рождения Робинзона.

Подобно мусульманскому мистикам, трезвый англичанин идет по пути духовного прозрения от одной стоянки к следующей. Сначала Робинзон не помышляет о Боге, забыв о кратком восторге души, который он испытал после телесного спасения. Перелом наступил после вешего сна и болезни. Ко второй годовщине пребывания на острове Робинзон осудил свою прежнюю жизнь и стал освобождаться от прошлого. Новое потрясения ощутил Робинзон, увидев на песке человеческий след. Страх перед дикарями-людоедами и ненависть к ним мешали ему работать и молиться. Робинзон тяжело воспринимает свое одиночество и видит второй вещей сон, в котором спасает туземца от людоедов.

Сон обернется явью, а туземец получит имя Пятница. Обученный английскому языку и основам христианской веры, туземец смутно напоминает Андрию врожденными способностями и простодушием. А языческое прошлое Пятницы почти не имеет значения, ибо он начал с чистой страницы и стал новым человеком.

Итак, при всех различиях эпох и культур, для Ибн Туфейля, Грасиана и Дефо настоящий герой — это человек на острове, окруженный океаном времени и открывающий для себя единого Бога, а у истоков европейской робинзонады мы видим арабскую философскую притчу.

Библиография

- Аравийская старина*. Из древней арабской поэзии и прозы / Пер. с араб. А.А. Долининой, Вл.В. Полосина. М., 1983.
- Грасиан Б.* Карманный оракул. Критикон / Изд. подготовили Е.М. Лысенко и Л.Е. Пинский. М., 1981.
- Дефо Д.* Робинзон Крузо. М., 1974.
- Ибн ал-Араби*. Мекканские откровения / Введ., пер. с араб. А.Д. Кныш. СПб., 1995.
- Ибн Туфейль*. Повесть о Хайе ибн Якзане / Пер. с араб. И.П. Кузьмина. М., 1978.